

**Лежнев Абрам Захарович**

# **Два поэта Гейне, Тютчев**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
А16

А16 **Абрам Захарович Л.**  
Два поэта Гейне, Тютчев / Лежнев Абрам Захарович – М.: Книга по Требова-  
нию, 2022. – 350 с.

**ISBN 978-5-519-92907-3**

Филологические науки. Художественная литература. Германия. Немецкая  
литература. Конец 18 - 19 вв 1789-1871. Персоналия писателей. Гейне Генрих  
1797-1856 - писатель. Общая характеристика и значение творчества писателя

**ISBN 978-5-519-92907-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



красотах, и, исключая несколько его произведений, помещаемых в хрестоматиях, большинство их читается с трудом и ценится лишь самыми строгими и рьяными эстетиками».

Только во второй половине девяностых годов имя Тютчева получает вторичное и окончательное признание. «Забытый» поэт становится знаменем молодой школы — символистов, но живой интерес к его поэзии не угасает вместе с упадком символизма. Он продолжается вплоть до наших дней. Революция отнюдь не уничтожила его, но лишь придала ему другой смысл и значение.

Место Тютчева прочно утверждено в ряду величайших имен русской поэзии.

Литературная судьба Тютчева, таким образом, зигзагообразна, прерывиста. Равнодушие и успех здесь чередуются, нарастают и падают большими волнами. Это не то, что обычное колебание оценок, имеющее место по отношению к любому крупному поэту, например к Пушкину. Пушкина любили. Пушкина отрицали. Но Пушкина не забывали. Память о нем никогда не затягивалась мутью безразличия. А Тютчев временами выпадал из культурного обихода читающего общества. Делались попытки объяснить такую прерывистость литературной судьбы Тютчева особым свойством его поэзии: ее недостаточной раскрытостью, тем, что ее богатое содержание облечено в строгую, лаконическую, не каждому доступную форму. Поэзия Тютчева оказывалась по плечу только избранным — и нужно было время для того, чтобы она сумела сделаться достоянием многих. «Золотая цепь из лучших русских писателей» — Жуковский, Пушкин, Некрасов, Тургенев, Фет, Толстой — на протяжении почти столетия «передавали на высоко поднятых руках, над головами «бесчувственной толпы» его имя друг другу, обменивались этим именем, как знаком посвящения в «высшие таинства» искусства».

Это — очень красиво, но не совсем верно, по крайней мере в том, что касается Пушкина. Тынянов, подвергший укоренившуюся легенду об отношении Пушкина

к Тютчеву проверке фактами, довольно сильно ее расшатал. Правда, ему не удалось доказать, что пушкинская оценка Тютчева оставалась до конца отрицательной. Переданный Гагариным отзыв Пушкина о тютчевских стихах: «Он их ценит, как должно, и отзывался мне о них весьма сочувственно» — нельзя рассматривать как ничего не значащую вежливую фразу, в особенности, когда за этой вежливой фразой следует печатание похваленных стихов в «Современнике» целыми пачками (16 в одной книжке, 8 — в другой). Такое печатание является решающим фактом, и его нельзя отвести ссылкой на то, что, начиная с третьей книжки «Современника», Пушкин становится менее строг, в выборе стихов. Одно дело — когда Пушкин случайно помещает в «Современнике» какое-нибудь стихотворение третьесортного автора — «для подверстки», — как бы выразились у нас сейчас. Другое дело — когда он печатает какого-либо поэта систематически, циклами, и притом на самом видном месте (стихи Тютчева открывают собой третью книжку «Современника»). Никогда Пушкин не стал бы в своем журнале так выдвигать автора, которого он не признавал.

Но Тынянов сумел доказать, что по крайней мере одно время отношение Пушкина к Тютчеву было отрицательным.

Стихи, переданные Гагариным, не открыли Пушкину нового поэта. Он давно уже знал Тютчева по тем произведениям, которые тот опубликовал в разных альманахах и журналах, вроде раичевской «Галатеи». В одной из своих критических заметок он пишет: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». Это значит, особенно при сдержанной и по-французски корректной критической манере Пушкина, что Тютчеву он в таланте отказывает.

Чем вызывалось такое неблагоприятное мнение Пушкина — вопрос другой: вероятно, в основном, помимо разных привходящих литературных обстоятельств, раз-

личием литературных позиций обоих поэтов. Тютчев, как это отметил тот же Тынянов, исходил от державинской традиции «витийственной» лирики, которой был чужд и враждебен Пушкин<sup>1</sup>.

Во всяком случае, признание Тютчева Пушкиным совершилось вовсе не сразу, причем у нас нет данных думать, что оно произошло в такой торжественной форме и так восторженно, как это представляется многим тютчевIANцам. Ему предшествовал длинный период отрицания. Скорей можно предположить обратное: Пушкин, хотя и понял и оценил, в конце концов, значение Тютчева, все же сохранил по отношению к поэту какой-то холодок.

Гипотеза о «золотой цепи» избранных, передающих друг другу имя Тютчева над головами равнодушной толпы, рвется в первом же своем звене. Да и Жуковский, так тепло приветивший присланные из-за границы стихи Тютчева, скоро как будто бы забыл их автора и при своей встрече с поэтом, в конце 40-х годов, словно наново открывает его. Если б действительно имя Тютчева являлось для Жуковского и уцелевших членов пушкинского кружка (вроде Вяземского) «знаком посвящения в высшие таинства искусства», то они как-нибудь бы выразили это, а не стали бы так глухо и упорно молчать о поэте в течение десятилетия, не обмолвившись о нем в печати — за все сороковые годы — ни одним словом.

Заветным именем был для них Пушкин, а не Тютчев, — и из своего отношения к Пушкину они не делали секрета.

---

<sup>1</sup> Конечно, в основе этой противоположности должны были лежать какие-то социальные противоречия, различия в психологии, положении и интересах разных группировок внутри дворянства. Но этот вопрос еще очень мало разработан — и то решение, которое первым приходит на ум и кажется очень соблазнительным: архаисты, «державинцы» — представители старого консервативного дворянства, Пушкин — дворянства либерального, перерастающего в буржуазию, — наталкивается на сопротивление фактов: среди архаистов имелись не одни реакционеры, но и либеральная группа (Катенин, Кюхельбекер). Истина, очевидно, несколько сложнее, хотя, может быть, и не очень далека от приведенного упрощенного решения. С другой стороны, Пушкин признавал Хомякова, который литературно был довольно близок к Тютчеву.

Больше оснований говорить об особой любви к Тютчеву у следующего литературного поколения, писателей 50-х — 70-х годов: Некрасова, Тургенева, Фета, Толстого. Но они только ярче и сильнее выразили то общее пробуждение интереса к поэзии Тютчева, которое сопровождало пятидесятые годы. «Золотой цепи» не приходилось передавать имя поэта над головами «бесчувственной толпы» уже по одному тому, что эта толпа не была бесчувственной к Тютчеву. Расхождение между «толпой» и «золотой цепью» началось позже, когда первая стала быстро забывать выплывшее из сумрака прошлого и ослепившее ее было имя, а последняя сохранила к этому имени прежнюю любовь и уважение. Только для этого отрезка времени слова о «высоко поднятых руках» и т. д. имеют смысл и основание. Впрочем, и здесь не без оговорок. Во-первых, забвение Тютчева не было теперь — в среде «толпы» — таким полным, как в сороковые годы. Во-вторых, Тютчева стали рассматривать как отжившего свое время, окончательно устарелого поэта и кое-какие участники «золотой цепи». Я уже приводил характерные слова Достоевского. Сам Тургенев, редактор и собиратель первой книги тютчевских стихов, говоря в конце 60-х годов о современных поэтах, не называет Тютчева.

## 2

Чем вызывалась такая разница в отношениях к Тютчеву? Почему для одних «Тютчев — черная букашка»<sup>1</sup>, для других — замечательнейший поэт, стоящий в одном ряду с Лермонтовым (Некрасов), «решительно выше всех своих современных собратьев по Аполлону» (Тургенев), выше самого Пушкина (Л. Толстой)? «Скучный» сочинитель «безукоризненных красот», интересных только «самым рьяным эстетикам» (Скабичев-

---

<sup>1</sup> Эпиграмма Пушкина, где, однако, имя оставлено незаполненным (заменено звездочками); заполнено оно уже кем-то из лиц, близких к пушкинскому кружку,

ский) и художник «гигантского вдохновения», «могучего искусства» (Фет)? Какую загадку загадал Тютчев своему читателю, что тот в течение целого века на разные лады отгадывал и все не мог окончательно разгадать тютчевского небогатого наследства, маленькой книжки его стихов? Но нет! Особой загадочности поэзия Тютчева как будто не представляет. Она сложна, быть может трудна, иногда противоречива, она не рассчитана на легкое усвоение и широкую популярность — это отметил еще Тургенев, — но черты ее выражены с такой определенностью и яркостью, что их нельзя не различить. Мировоззренческие элементы в ней гораздо обнаженнее и недвусмысленнее, чем у такого ясного поэта, как Пушкин. У Пушкина они — скрытая основа, которую приходится искать, разгадывать, вычитывать в строках и между строк, философия Пушкина спрятана в его стихах. У Тютчева — это главное и явное содержание поэзии, ее ведущая тема, которую он открыто разворачивает. Ее так и поняли с самого начала, с тридцатых годов, как философскую лирику, причислив Тютчева к «германской школе».

Лирика Тютчева не была «засекречена», как засекречена в наши дни для многих читателей лирика Пастернака, которая обнаруживает в ряде других отношений родство с тютчевской. Это — не головоломка вроде той, какой являлась в науке знаменитая таблица Кенэ, которую удалось правильно прочесть только через полтора столетия. Мало можно назвать поэтов, которые были бы единодушнее, одинаковее прочитаны и истолкованы, чем Тютчев. В этом смысле каждое новое поколение не столько пересматривало, сколько дополняло то, что было сказано о поэте другими. Беглые эскизы Тургенева и Некрасова развиты в портретной работе Брюсова. Нарисовать «творческий» портрет Тютчева, уловить черты его поэзии — сравнительно нетрудно. Трудно другое: объяснить их, дать к ним ключ. Пушкина труднее прочесть, чем Тютчева, не только потому, что он мировоззренчески менее раскрыт, но и потому, что он — многостороннее и изменчивее Тютчева.

Итак, «загадочность» Тютчева не в тексте. В чем же тогда?

Попробуем разобраться. Попробуем увидеть Тютчева. Кто он?

Вот один аспект:

Барич, отпрыск старинной дворянской семьи. Растет на руках у дядьки, который его нежно опекает до самой женитьбы. Вместе с воспитателем, наивным и чистым душой поэтом Раичем, восторгается Горацием и Ариосто, которых они совместно читают в зеленых подмосковных рощах. Рано начинает писать — и первые же его стихотворные переводы из латинских классиков зачитываются на заседаниях Общества любителей российской словесности. Успех, бегущий от зрелого Тютчева, легко и беструдно дается в руки Тютчеву-ребенку, — единственный, пожалуй, успех, которым сам Тютчев до конца наслаждался в жизни. За границей у Тютчева-дипломата руками дядьки устроен чисто русский уголок, с иконами и русской кухней. Обломовские традиции усадьбы продолжают и в Европе. Тютчев ведет малодетельный образ жизни русского барина. Обломовские черты остаются у него на всю жизнь. Иван Аксаков, автор первой и подробнейшей биографии Тютчева, хорошо знавший поэта и женатый на одной из его дочерей, пишет о нем: «Он, будто свинцовыми гирями, прикован был, как любят выражаться поэты, долгу: немощью воли, страстями, избалованностью — ненавистницей работы и усилия». И он тут же указывает причину этой «немощи воли»: «старый дворянский быт, т. е. обеспеченность, порождавшая беспечность, которую давало крепостное право».

Неудивительно, что барич, выросший на созданной крепостным правом почве обломовской усадьбы, становится защитником родного «самодержавия-православия-народности». Это в порядке вещей (хотя и не вполне обязательно). Из той же усадьбы вышли и близкие Тютчеву славянофилы: Хомяков, Киреевские,

Аксаковы. Но тут обнаруживается одно странное обстоятельство: этот мягкотелый барин, идиллический переводчик Горация, воспитанник и друг прекрасного Раича, проявляет в защите своих идей совсем не обломовскую прямолинейность, последовательность и страстность. Мережковский правильно замечает, что «одно из свойств русского славянофильства — мягкотелость, бескостность, неумение или нежелание доводить мысль до конца», а Тютчев «вкладывает кости в тело, ставит точки над *i*; у него беспощадная логика». Напрасно считают такими слабыми политические стихотворения Тютчева. Они, правда, ниже его «чистой» лирики, но в своем роде замечательны силой выражения и пламенным, хотя и совершенно головным, пафосом. То же самое можно сказать о его статьях, которые в смысле красноречия еще, пожалуй, превосходят стихи. И вместе с тем нет ничего более отталкивающего, чем гражданская лирика и политические конструкции Тютчева.

Мережковский, писавший свою любопытную книгу о Некрасове и Тютчеве, «двух тайнах русской поэзии», в разгар своего предреволюционного, быстро слинявшего «радикализма», нашел удачные слова для характеристики «византийского реставраторства» Тютчева: «Какое искусство в подделке, — восклицает он, — какое варварское великолепие красок! Все крестики да орлики, а между ними страшилища, которые могли притти в голову только утонченному варвару».

Да, действительно, страшилища, хуже которых редко кому удавалось сочинить. Царская Россия расплывается, как огромное пятно, по карте мира. Ее границы —

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —  
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная.

Это — «русская география» по Тютчеву. Странам Европы и странам Азии предстоит сделаться губерниями всемирной самодержавно-православной монархии. Не только «братья-славяне», не только заветный «Константинов-град», древняя Византия, но и ни в чем непо-

винная Индия, Египет и даже как будто частично Германия («от Эльбы») должны пасть жертвами фантастической российской алчности. Но во имя чего должны достаться «смиренной России» «гром земли и меч небес»? <sup>1</sup> Что она обещает тем многочисленным народам, которые собирается покорить? Ничего, кроме спокойствия кладбища или полярной пустыни. Все три главных статьи Тютчева и значительная часть его политических стихов написаны в годы царствования Николая I, в эпоху свирепейшей реакции, которую сам Тютчев сравнивал с «вечным полюсом».

О, жертвы мысли безрассудной!

восклидал он, обращаясь к декабристам,—

Вы уповали, может быть,  
Что станет вашей крови скудной,  
Чтоб вечный полюс растопить!

В 1825 году он говорит Погодину: «В России канцелярия и казарма, все движется около кнута и чина». Тютчев, таким образом, зовет под сень самодержавной России, не имея никаких иллюзий насчет того, что она с собой несет благодетельствуемому человечеству. Правда, впоследствии его политические взгляды несколько изменяются,—но не в том смысле, что для него кнут и чин перестают быть осью русской действительности, а в том смысле, что меняется его отношение к кнуту и чину: они начинают казаться ему гораздо менее непривлекательными. Поэт, который еще в 1831 году, при взятии николаевскими войсками Варшавы, гордо отстраняет от себя мысль о защите «корана самодержавия», скоро выставит этот «коран» как щит против революционной Европы, поднимет его как знамя, призовет к священной борьбе во имя его.

Тут мы переходим к центральному пункту политических концепций Тютчева. Для того, чтобы получить о них понятие, надо представить себе нечто диаметрально противоположное статьям Маркса о европейской по-

---

<sup>1</sup> Слова Хомякова.

литике. Тютчев исходит из тех же предпосылок, из той же оценки сил, что и наиболее последовательные, «крайние» революционеры 48-го года. В Европе есть лишь две основные силы — революция и самодержавная Россия. Они «противопоставлены одна другой и, может быть, завтра вступят в борьбу». «Между ними,— заявляет Тютчев,— никакие переговоры, никакие трактаты не возможны; существование одной из них равносильно смерти другой!» Это великолепный язык политического радикализма, но только радикализма навыворот. Там, где по силе выражения и пониманию исторической обстановки Тютчев как будто больше всего приближается к Марксу, он оказывается всего дальше от него — своего рода анти-Маркс, быть может, ничего не слышавший о Марксе. Маркс призывает к священной войне европейской революции против русского царизма — для того, чтобы сокрушить оплот реакции в Европе. Тютчев призывает к священной войне самодержавной России против европейской революции — для того, чтобы разрушить очаг «безбожия» и «гордыни».

Он требует интервенции против восставшей Венгрии еще за год до того, как эта интервенция была осуществлена. Всюду, где только можно мечом подавить народное движение, он зовет вынуть меч из ножен. Но самодержавие надо освятить санкцией религии, иначе оно слишком непривлекательно и полицейски-грубо. Самодержавие превращается в теократию, казарма и канцелярия — в храм святой Софии, где коленопреклоненный Николай Палкин, палач и солдафон, восстает как всеславянский царь, как глава всемирной мистической монархии,— что, кстати сказать, идет к нему, как корове седло.

Впрочем, Николай, прочитав стихотворение Тютчева, где он приглашался возложить на свою голову упомянутую мистическую корону,—

Пади пред ним<sup>1</sup>, о царь России,  
И встань как всеславянский царь!—

---

<sup>1</sup> Т. е. алтарем «св. Софии».

ответил краткой резолюцией: «Подобных стихотворений впредь не допускать».

Но идеи теократии для Тютчева — далеко не одни риторические привески, служащие целям украшения неприглядного российского самодержавия. Здесь дело сложнее и глубже. Здесь и убеждение и надежда. И когда его мечты о всемирной миссии России, о мистической всеславянской монархии («как то провидел дух и Даниил предрек») рушатся под ударами сева-стопольского разгрома, он в совершенном исступлении, в бешенстве, кричит:

Все богохульные умы,  
Все богомерзкие народы  
Со дна воздвиглись царства тьмы  
Во имя света и свободы.

Тебе они готовят плен,  
Тебе пророчат посрамленье,  
Ты — лучших, будущих времен  
Глагол, и жизнь, и просвещение!

Как бы ни были чудовищны и враждебны нам политические концепции Тютчева, мы все же не можем не отдать должного тому необычайному уму и дальновидению, какие он проявляет в своих статьях при оценке основных исторических сил и перспектив. Таких умниц у европейской контрреволюции было немного. И тут же рядом мы находим у него совершенно бредовые идеи о том, что весь «корень» европейского вопроса — в папстве, идеи, лишенные всякого исторического чутья, так сильно свойственного обычно Тютчеву и которые можно объяснить лишь влиянием славянофильских концепций о самобытности развития России. В многовековой истории папства Тютчев ищет ключ к европейской революции и европейским судьбам. Он укоряет и язвит католический Рим, предрекает ему гибель и зовет к соединению разорванных половин христианства, к подчинению старшей, греческой церкви. Он не замечает, что Рим уже давно полу-труп, что история уже несколько столетий движется мимо, в стороне от него и